

О прекрасной неясности

М. Кузмин. Арена. Избранные стихотворения.

Сегодня. - 1994. - 19 апр. - с. 15

Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии А. Г. Тимофеева. СПб., Северо-Запад

Андрей Немзер

Л

юбилети российской словесности знают, что Михаил Кузмин — поэт большой (инье заспорят: великий), но ценят его как бы авансом и обобщенно, принимая часть за целое, имя в ауре мифа — за поэзию. Это общая судьба затененных мастеров серебряного века и их младших современников. Выручают либо компактность наследия (Анненский, Ходасевич; у прозаиков Вагинов, затмивший Ремизова), либо редкое в XX веке единство поэтической дерзости и открытости читателю (Пастернак, с оговорками Цветаева; у прозаиков Булгаков, затмивший Замятина). Понятно, почему в негласной иерархии первенствует Блок (если бы Андрей Белый писал поменьше! еще неизвестно, кто был бы Блоком) и Мандельштам.

Кузмин написал много, а публиковался в посмертье — мало. Его западные издания не обладали общеприятностью книг Гумилева или Набокова. Тот, кто дышал Кузминым, превращался в «кузминиста». Едва ли не на всех кузминских штудиях лежит печать, в пленительном рисунке которой сплелись линии эзотеризма, интимной увлеченности и высокого дилетантизма. Того дилетантизма, что в милых уточнениях перекроет профессионализм. Того дилетантизма, что скромно гордится своей статьёй и не снисходит до каких-то литературных приличий. Того дилетантизма, что ревниво оберегает предмет от посягновений профанов и не менее ревниво оценивает коллегу, всегда условно допу-

щенного к хрупким сокровищам.

Сокровища должны сокрываться. В случае Кузмина «слово» стало «делом». Он остается поэтом не «Избранного», но избранных. Великолепный том стихов и прозы, подготовленный Александром Лавровым и Романом Тиенчиком (1990) — такой же кружковый и требующий истолкования шедевр, как прижизненные книги Кузмина и мюнхенское Собрание Джона Мальмстада и Владимира Маркова. Наименьшим злом для «кузминского ордена» было бы заведомо бесконечное собрание сочинений, все дополняемое если не текстами, то мемуарами и уточнениями. Увы, публика хочет «настоящего Кузмина» и сейчас (том Библиотеки поэта погребен под руинами «Советского писателя»). И издательство «Северо-Запад», приступившее к грандиозной программе «1000 лет русской литературы», нашло компромисс: готовятся к печати Собрание сочинений и знаменитый дневник (в 1933 году Кузмин продал его в Гослитмузей, в 1934 году откровенный текст был затребован НКВД и стал подспорьем сыскно-палаческой службы; Кузмин, вероятно, знал, что делает), скоро выйдет увесистый том прозы, а сейчас перед нами стихи, избранные Александром Тимофеевым.

Составитель — истый кузминист и работу сделал в духе своего героя. Блеск и выточность деталей, прелесть намеков и умолчаний, игровая небрежность, служащая тайне, ирония: вам нужен «просветительский» комментарий — не пожалейте места для Эвридик и Данай, а кто такая Леда, скажу дважды. Очевидная трудность составления (Кузмин написал много) преодолена почти без потерь: не увидевшие света петро-

градские изборники 1918 года, «Ленинградские Параболы» (стихотворения 1921—1923 годов; еще один сгинувший план) и «Фореель разбивает лед» (1929) — поэтическое завещание-апофеоз Кузмина. В приложении — неизвестные до публикации А. Тимофеева в № 3 «НЛО» стихи 1908—09 годов.



Возражения, конечно, будут; даже меня — отнюдь не знатока — огорчает отсутствие «Нездешних вечеров», а особенно — их заглавного стихотворения. Но что спорить? Кузмин знал, каким его должны увидеть, когда в изборниках двигался от последних стихов — к ранним, приглашая читателя трижды пройти по выющимся рядом тропинкам. И ленинградский дополненный вариант искаженного в Берлине и запрещенного в России томика реконструируется по мысли маэстро. А «условная материальность» (А. Тимофеев) двух первых разделов и присутствие поздней воли мастера в странстве ранних стихов готовят к трагично-трагической тайнописи

«Фореели», что разбивает лед посылкой «прекрасной ясности».

В 1977 году Владимир Марков с иронией отозвался о предшественниках, для которых весь Кузмин покоится на трех китах — гомосексуализме, стилизации и «прекрасной ясности». «Антитезис» Маркова быстро стал китом единственным. Не покоится — и хорошо. Только нельзя ли узнать, в чем суть поэтики Кузмина, о которой говорится полунамеками? А также что это за «прекрасная — все замутившая — ясность»? Нельзя. Эдак каждый... Штрихи, полутона, фрагменты, тонкий яд полемики, прелесть детали, бездны прозрачности, зеленый край за дымом голубым...

«Семь набросков к портрету М. Кузмина» словно обронены А. Тимофеевым. Разоблаченные мифы, пунктуально расчисленная родословная, детство-отрочество-юность (архивные раритеты), белое пятно творческого двадцатилетия, прыжок из 1903 в 1923 год (будет шаг назад — в 1917-й), александринец на морозе, химерность большевиков, история дневника, смерть, морозная ретроспекция, брезгливая тоска от позднесоветских изделий: «Без новейших фальсификаций легендарно-мифологический спектр личности Кузмина был бы, разумеется, неполон».

А шесть портретов — и подавно без последствий». Был волшебный ключик, да пропал в море-окияне, проглотила его среброперая рыбка, а ту — пышнокрылая утка, а ту — ярославский медведь, а он уплыл за синее море, забрался на высокий дуб, нашел златоконный сундук да там и спрятался. Ищите, кто умеет. «В бездорожии// Звезды Божии// Ах, утешнее// Чем вчера».